СМЕНА
г. Ленинград
25 ДЕК 1988

ВОСКРЕСНЫЙ ГОСТЬ «СМЕНЫ»

ПОСЛЕ ЗАТМЕНИЯ

— И ведь, сделай уступку, будешь возвращен в рай, обласкан. Не мог. Не потому что я какой-то герой, необыкновенно принципиальный или безрассудно смелый человек. Нет, я обычный. Но неистребимый страх перед начальством (общая наша черта) всякий раз оказывался все же меньше, чем страх сделать плохую картину, чем стыд перед воображаемым зрителем. В этом мне просто повезло, — считает кинорежиссер Алексей ГЕРМАН.

КОНФЛИКТ был затяжной. Обе стороны выступали сплоченно, единым фронтом: родители отстаивали свое право учить детей у учителя, которому они доверяют, педагогический коллектив доказывал, что такого права не существует. Вопрос спорный. Да и родители оказались какие-то неуемные. Один даже статью в центральной прессе написал — «Как я стал врагом перестройки» — и тем самым сделал конфликт общественным достоянием. Чего добился? Искового заявления в суд от имени педколлектива.

Впрочем, вся эта история закончилась почти счастливо: класс во главе с учителем покинул школу и теперь благополучно существует в другой. Директора, который принял в свои стены беглецов, выбрали делегатом съезда работников народного образования (разумеется, совсем за другие заслуги). Директора, который хладнокровно целый класс «отпустил», на районной выборной конференции забаллотировали (в том числе и по причине получившего огласку конфликта).

Честно говоря, меня во всей этой ситуации больше всего заинтересовала организованность, непоколебимость, решительность самих родителей. В том числе и Алексея Германа, который сражался со школой всеми доступными ему средствами — от газетных публикаций до телевидения. Он что же, не мог своего сына пристроить в другую школу? Мог, даже в специальную, были такие предложения. В чем же дело? «Заняться ему, наверное, нечем», — возмущались, помнится, оппоненты. Ну а в действительности?

— Просто характер такой. Неуправляемый режиссер, как меня раньше на ленфильмовских собраниях определяли. А если серьезно, ввязался я в эту школьную историю потому, что при ближайшем рассмотрении очень уж примитивным мне показалось отношение к личности ребенка, узким кругозор большинства наставников, низким общий культурный уровень. И потом эта необъяснимая готовность освистать, ошельмовать все что-либо выбивающееся из рамок, из схемы — в нашем случае просто талантливого учителя... Допускаю, что школа, с которой я столкнулся, не самая плохая Тем хуже для всех нас, для общества. Во всяком случае молчать я считаю невозможным. Если мы любим своих детей, нам не может быть безразлично, у каких учителей и чему они учатся.

Меня, например, удивляет тотальное стремление к однообразию. Даже любимые писатели должны быть у всех одни и те же. Вчера — Шолохов, Фадеев, Полевой. Сегодня — Астафьев, Белов, Распутин. Почему? А я считаю самым крупным русским писателем Шаламова. Вообще, думаю, у каждого здесь должна быть своя «пятерка», не зависимая от чьих-то желаний или вкусов. Для меня это — Ахматова, Пастернак, Солженицын, Набоков.

— А писатель Юрий Герман?

— Отец? Он был удивительный человек — честный и слабый, забавный и искренний. Иногда — очень сильный. И, бесспорно, талантливый. Публиковаться начал в шестнадцать лет, в двадцать два — уже известный писатель. Горький о нем очень хорошо тогда отзывался. А ведь по происхождению отец — из «лишенцев». вместе с родителями (дед Павел Николаевич был офицер, из дворян) после революции получил поражение в правах и, стало быть, пробиться мог только за счет собственных способностей. Пробился. Много писал. Много издавался. Был лауреатом Сталинской премии. Правда, это ничего не гарантировало. Помню периодами: квартира, машина, личный шофер, а потом вдруг отец приходит без пальто и долго врет матери, что где-то его забрызгали маляры, и даже я понимаю, что пальто продано.

Знаю, отец был дружен с Зощенко, с Ахматовой. Помню, как он Анне Андреевне в больницу возил еду в судках, ворчал: «Все цветы несут, а старухе супчик нужен». А Зощенко почему-то не отложился в памяти, разве что, как мы в пионерском лагере на костре жгли его чучело с каким-то ярлыком. Известное постановление ЦК от 46-го года, разгромившее ленинградские журналы и писателей, отца не коснулось (как ни странно, заступился за него тогда Жданов). Но уж в сорок девятом, после повести «Подполковник медицинской службы», на нем отыгрались все, кому не лень. Иначе как оруженосцем космополитизма его в ту пору и не называли. Фельетоны были один другого резвее. После выхода романа «Россия молодая» какой-то критик уверял читателей, что опубликовать такое произведение можно, только опоив редакторов. Ребята в школе надо мной смеялись, знаете, дети ведь злые бывают...

А вообще я считаю, есть писатели невостребованные и востребованные. Отец — из последних. За два года, например, получено четыре Государственные премии за фильмы по его произведениям. Для меня это показатель. Бесспорный. Потому что в протекционизме или личных связях никого не упрекнешь — отца уж нет. А писатель он был хороший.

— Вам это помогло в жизни?

— Только мешало. Меня и в школе и в институте за это не любили, считали блатмейстером. Честно говоря, я жалею сыновей известных людей: им надо дважды перевернуться, чтобы доказать, что они сами чего-то стоят. И упаси господь известного отца чем-то тебе помочь — профессионально ли, человечески, — упреков в семейственности не оберешься. И вот ведь что странно: в рабочей среде династии в почете, а среди творческой интеллигенции не поощряются. Я даже специально отчество себе взял Георгиевич — чтобы хоть в чем-то быть независимым.

Хотя, если говорить объективно, конечно, отец мне очень помогал. И любил. Я это только теперь понял, раньше казалось, что особой душевной близости между нами нет. Кстати, это ведь он уговорил меня поступать в театральный. Я-то собирался стать врачом, ходил в анатомичку. Правда, параллельно ходил и в БДТ — статистом. Мы там вместе с Мишей Козаковым работали шумовиками. Это, знаете, шаги за сценой изображать или стук копыт. Миша старше был, так если выдавался случай пройтись по сцене в тулупе или в какой-нибудь бороде, он у меня обязательно выход отбивал. Зато я до сих пор могу ладонями изобразить скачущую лошадь, только при нынешней технике это никому не нужно.

— Но ведь ваши пути с этим театром еще пересекались?

— Да, Товстоногов случайно посмотрел мою дипломную работу и пригласил в театр. Удача для начинающего режиссера! Еще бы. Я многому у Георгия Александровича научился (правда, понял и оценил это только теперь, к пятидесяти годам), многое увидел. Спектакль по володинским «Пяти вечерам», например, — с коммуналкой на переднем плане и живыми человеческими страстями — до сих пор считаю по-настоящему революционным. Однако, как мне кажется, он быстро потерял ко мне интерес. То есть отношения у нас были хорошие, я знал, как нужно сделать, чтобы Георгию Александровичу понравилось, что сказать. И мне стало неинтересно. А тут еще познакомился с девушкой по имени Лена, распустил, как водится, хвост, я, дескать, режиссер, работаю в БДТ. Она и обрадовалась. «Значит, вы Товстоногов!» Как ушат воды вылила.

Ну я и ушел. На «Ленфильм».

— И за двадцать почти лет сняли на «Ленфильме» четыре картины. Почему так сложилось? Зависела ли ситуация от вас хоть в какой-то мере или все свершалось помимо воли?

— Конечно, зависела. Согласись я, например, внести в «Проверку на дорогах» все те двести поправок, на которых настаивали высшие инстанции, картину бы с радостью пустили в прокат. Но я не согласился. И она шестнадцать лет пролежала на полке.

— Понятно. «Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба».

— Ну да, суть творчества Пастернак раскрыл идеально. Но в жизни все было и проще и жестче. От работы над «Проверкой...» меня отстраняли два раза, от «Двадцати дней без войны» — тоже. Три строгих выговора получил с беспрецедентной формулировкой «за полную творческую несостоятельность». Дважды студии приходилось возвращать все потраченные на картину деньги Госкино. Позор!

И ведь, сделай уступку, будешь возвращен в рай, обласкан. Не мог. Не потому что я какой-то герой, необыкновенно принципиальный или безрассудно смелый человек. Нет, я обычный. Но неистребимый страх перед начальством (общая наша черта) всякий раз оказывался все же меньше, чем страх сделать плохую картину, чем стыд перед воображаемым зрителем. В этом мне повезло.

— И с каким же чувством вы отдавали свои работы на полку?

— Что значит отдавал? Каждая картина — это годы борьбы. Например, «Проверку...» мне помогали «пробивать» известные партизаны. Один генерал нелегально предоставил зал для просмотров. Заступников было много, и добрались мы с ними до таких верхов, даже выговорить страшно. Тем громче грохотали с этих верхов коробки с нашей лентой.

Скандал был жуткий. От студии меня отлучили. (Это называлось «исчезни года на три»). Решили мы махнуть в Норильск, уже и переговоры вели насчет сценария.

— Махнули?

— Да нет. Симонов остановил. Посмотрел где-то «Проверку...», позвонил, предложил: «Алеша, давайте сделаем картину» Он действительно хотел мне помочь, рассчитывал так: снимем «Двадцать дней без войны», а потом можно добиваться пересмотра решения.

Вообще, как бы к Симонову ни относились, как бы его ни ругали, что бы он противоречивого сам о себе ни написал в воспоминаниях, человек он был хороший, странный, благородный. Я его очень любил и люблю, даже во сне вижу. А скольких он вытаскивал! Как раз тех, кто на него нападал. Но во время нашей работы я его просто ненавидел, все переговоры Светлана вела, жена: у тебя, говорит, лицо перекашивается — молчи лучше. А подружились мы уже после картины, в совместной борьбе.

— Опять — «полка»? С какой же формулировкой на этот раз?

— Ох уж эти формулировки. Дегероизация — это, пожалуй, самое безобидное из предъявленных мне обвинений. Директору студии позвонили из Москвы: «Поздравляем, вы сняли первый фильм о том, как советский народ проиграл войну». Даже Симонов не мог ничего сделать. О «Проверке...» он уже не вспоминал, свою бы картину вытащить.

А все дело в том, что до нас войну так не снимали. Существовали определенные правила в изображении войны на экране, определенные приемы, стереотипы в восприятии фронта и тыла. И покушаться на эти стереотипы было равносильно самоубийству. Константин Михайлович был человек смелый, однако дипломат, готов был на уступки. Но мы стояли стеной, да еще и всяких влиятельных людей «вербовали» на свою сторону. Симонов со мной по телефону ругался: «Алексей, зачем вы натравливаете на меня интеллигенцию? Не надо меня уговаривать. Я сам знаю, что картина хорошая». Хорошая... Мне даже маоизм приписывали: зачем-де показал малолетних детей за станками.

— Ну и вырезали бы этот эпизод с детьми. Во имя сохранения целого...

— Но они же были! В жизни-то. Как я мог по живому?

Помню после запрещения «Проверки...» пошел я в кино — хоть куда-то деться. Фильм был тоже о войне, я знал только, что ему первую категорию присвоили. И вот сидел я в темном зале, смотрел на экран и, стыдно признаться, плакал. Я ведь такие ленты пачками мог бы делать. А мне даже в третьей категории отказали. Группе ни копейки не заплатили...

— Как же вы жили?

— Да ничего жили. Весело. Работали без конца. Все время какие-то сценарии писали. Даже для Музгиза что-то делали — как рабы, под чужими фамилиями. Идей была пропасть. И надежды оставались.

Вообще в семидесятые годы картины запрещались совсем иначе, чем позже. Ну положили на полку, ну поругали. Так я же еще во всех кабинетах хамил: «Что вы на меня орете, может, я за эту картину премию Государственную получу». Смотрели, как на придурка, но не связывались.

А вот когда запрещали «Мой друг Иван Лапшин» в восемьдесят втором, действительно настала жуть зеленая, «Виновных в изготовлении картины строго наказать» — был приказ. Вот тут все затрепетали.

Время действительно было жутковатое: только жулики процветали, были в моде, вызывали восхищение — просто затмение какое-то, сон разума. В такое время от неудачников шарахались, как от заразы. А я был неудачник. Раньше, бывало, телефон за день накалялся, на день рожденья по пятьдесят-шестьдесят человек ко мне на дачу приезжало — в саду палатки ставили. И вдруг такая тишина на голову обрушилась... Группа исчезла. У всех свои проблемы, только один человек и поздравлял, как раньше, не боялся нарваться на чужие неприятности.

Два с половиной года «Лапшин» провел в «заключении». А потом случилась перестройка. Я понял это, когда на одном из совещаний в Болшево меня вдруг назвали «одним из наиболее талантливых режиссеров». Даже испугался слегка, ведь еще три месяца назад Германа было принято клеймить как скандалиста и отщепенца, а его фильмы — как контрреволюционные. Но ошибки не было. Сначала выпустили «Лапшина», потом я в программе «Время» увидел интервью Бондарчука из Парижа — на фоне афиши фильма «Двадцать дней без войны». Фильм, как оказалось, шел там вовсю, имел успех, прекрасную прессу.

— Словом, все сразу стало на свои места?

— Да нет, как раз наоборот. Все стало сыпаться — и работа, и здоровье, и семейная жизнь. В самые тяжелые годы мы с женой держались (она, кстати, не просто мой друг, коллега — прекрасный сценарист, лауреат Государственной премии), а тут как будто перестали друг друга слышать. Все вразнос пошло.

— Как говорится, солдат на фронте не болеет?

— Да, просто нервы сдали. Я ведь чуть в Москву не уехал. Приглашали и Эфрос и Ефремов. Уже и вариант обмена подыскал. Да судьба вмешалась. Звонит из Москвы дама, с которой я договаривался: «Ах, извините, у меня поменялись планы». «Плохо, — говорю, — вы меня подводите». «Но не могу же я меняться только для того, чтобы вас не подводить», — резонно замечает она. Так и остался. И слава богу. Я вообще ленинградский человек. Да и отцовский дом покидать не хочется — это ведь не просто мемориальная доска на стене, целая жизнь здесь прошла.

Сейчас вот сидим со Светланой в кабинете, пишем сценарий для кукольного театра, как объявили «600 секунд».

— А что, неправда?

— Правда. По сказке Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». Решили переключиться, может, это спасет от трагических сценариев, которыми занимались все последнее время. Мы ведь собираемся делать фильм по рассказам двух замечательных писателей. Работа предстоит интересная, трудная, но пока об этом рано говорить.

— Алексей Георгиевич, а как вы восприняли известие о присуждении вам Государственной премии за 1988 год?

— Хорошо воспринял. Тем более, это уже вторая моя Государственная премия. Но все-таки лучше бы она дошла тогда, когда фильм был сделан. Ведь теперь у нас уже девять покойников в титрах.

Любопытно, что когда картину наконец приняли, на студию пришло указание: удержать с группы двадцать процентов за «отказ делать переделки». Я взвился: да если бы мы согласились на переделки тогда — сейчас речь о картине вообще бы не шла. Тогда пришло другое указание: удержать пять процентов. Понимаете, бюрократы и не думают сдаваться: «фильм не можем задержать — хоть плюнем вслед». Да, мои картины отмечены высокими премиями. по категории, по которым оценивали, например, «Проверку на дорогах», до сих пор еще не пересмотрены.

— Значит, на вашем фронте особых перемен не произошло?

— Ну что вы. Гигантские перемены. Прежде всего у художественной интеллигенции появился способ существования. Затмение духа кончилось — можно дышать. Но стало и труднее. Ведь как мы раньше работали! В сценарии пишешь одно, задумываешь при этом другое, ставишь третье — и в любую минуту готов объяснить любой комиссии, что никаких разночтений нет. Я по таким делам большой специалист, но теперь такая квалификация уже не требуется.

Или взять финансовую сторону вопроса. На все «Двадцать дней...» мне дали шестьсот тысяч, и мы на них сделали четыре экспедиции — в Казахстан, в Прибалтику съездили, умудрились даже пятитысячный митинг заснять, причем каждый статист был одет и подстрижен соответствующим образом. Господи, сколько нам пришлось ходить, уговаривать, упрашивать, сколько покойный Андрей Миронов «шефских» концертов дал, чтобы заполучить то, что требуется для работы над «Лапшиным». А теперь мне на картину два миллиона дают — просто слеза прошибает.

Посыпались приглашения и предложения из-за рубежа. Приходится много ездить, состояние для меня непривычное — я ведь всю жизнь считался штрафным, запрещенным, а стало быть, и «невыездным». На первых порах любопытно было читать телеграммы, подписанные моей фамилией: спасибо, дескать, за приглашение, приехать не могу ввиду серьезной болезни. Как вы понимаете, я таких телеграмм не посылал. Были люди, которые думали, решали, да и ездили за меня.

Теперь не то. Мы к такому не привыкли. Может, поэтому и не появилось пока ленты, адекватной состоянию общества. Хотя ленинградские режиссеры заявили о себе хорошо. Я, например, очень люблю фильм Александра Сокурова «Дни затмения», «Фонтан» Юрия Мамина — великолепная работа, «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова — тоже. Думаю, заметную картину сделает Сергей Овчаров. Да и молодые режиссеры интересные есть: Бортко, Гепцов, Сорокин, Снежкин Огородников — я ведь теперь занимаюсь мастерской «Первого фильма».

— Ну да, вы теперь мэтр.

— Какой там мэтр. Дергаюсь, нервничаю, переживаю как всегда. Ни о чем так не жалею, как о вынужденных годах простоя, — их уже не вернуть. А хочется успеть как можно больше. Такой вот сценарий жизни.

С гостем встречалась
Лариса ЛЕОНТЬЕВА
Фото Игоря Потемкина